

МЕРАБ НА ВЫСШИХ КУРСАХ

Волкова П.Д. (Москва)

Виноградную косточку в теплую землю зарюю...

Б. Окуджава

Не даром песню чудную пропели.

М. Волошин

На протяжении всей своей истории Высшие курсы сценаристов и режиссеров имели пристрастие к максимально высокому профессионализму в поиске и подборе педагогов-лекторов как по специальным, так и по общим дисциплинам. Здесь всегда созвездие имен, а преподавание — честь для любого специалиста. Все, что мало-мальски интересно, событийно в науке, искусстве, кинематографе, — милости просим к нам на Курсы.

На Курсах читал лекции крупнейший русский психиатр Аркадий Авруцкий, академик Борис Раушенбах, физик, астролог, историк науки Юрий Данилов (я не говорю о людях профессии) и даже гениальный безумный Геннадий Сергеев, доктор математики. В этом смысле Курсы не имели конкурентов. Лекции по «структурологии гуманитарных наук» читает Вячеслав Всеволодович Иванов. Нужна информация по квантовой теории — приглашаем академика Аркадия Мигдала. Иногда это были небольшие циклы, 3–4 лекции, или информация на остроактуальную тему. Лекции об «организованной государственной преступности» читали выдающиеся юристы задолго до «перестройки». Но случилось так, что почти одновременно, на протяжении 10 лет, на Курсы были приглашены чрезвычайно неординарные люди, по тому времени совсем не престижные, а, напротив, в известном смысле изгои. О них я и хочу рассказать.

При всем формальном несходстве они, по сути, имели много общего. И Натан Эйдельман, и Мераб Мамардашвили, и Лев Гумилев, и Владимир Лакшин, не говоря уже об Андрее Тарковском, были подлинными «шармерами», людьми сокрушительно-обаяния, завораживающими самим фактом своего присутствия. Даже если они молчали, все равно были «главными», и сделать вид, что их не замечаешь или они «как все», было невозможно. От них исходила могучая энергетическая сила «биологи-

ческого сияния». Совершенно невозможно определить, что такое обаяние, но вне этой силы невозможно воздействие никакого красноречия и никакого интеллекта (я имею в виду только положительную, созидающую силу, а не диктаторское волевое ораторство демагогов).

Манера говорить была совершенно разной. Голос Владимира Яковлевича Лакшина был полон, но почти тих, ровен, нежен. Он говорил ясно, отчетливо, очень литературно, иронично, помосковски мягко. Забытая сегодня речь московского интеллигента.

Натан Яковлевич говорил темпераментно, громыхая низким баритональным басом. Незабываемый красивый голос фактур и тональностей, сценических пауз. «Я знаю о Пушкине больше, чем он знал о себе сам!!» И на дружный смех — патетически: «Я знаю, кто за ним следил! А он — не знал! Ну правда, — голос падал, Натан разводил руками, — он знал о себе кое-что, чего не знаю я». Читая лекции параллельно, я старалась не пропустить ни одной темы Эйдельмана. «Ну, Паола, вы же уже это слышали». И я не могла объяснить, что готова слушать всю жизнь и всякий раз, как впервые, ибо это был первоклассный «театр одного актера». То, что когда-то называлось «пер-сим-фанс», т. е. персональный симфонический оркестр.

У Мераба Константиновича — низкий мужской голос с легким грузинским акцентом, вернее грузинской интонацией, трудной речью, иногда чуть пришепетывающей, обращенной в себя, но в то же время каждому из присутствующих казалось, что он говорит только для него. Такая вот феноменальность.

У Льва Николаевича были прямо-таки дефекты речи — шепелявил (говорят, унаследовал от отца). Говорил «Я зов» вместо «зол», меня называл «Паова». Но ничего, нам это не мешало сидеть с вытянутыми шеями и открытыми ртами.

Все наши герои были очень красивы, с мощно лепленными выразительными лицами, единственностью, требовавшей скульптурного запечатления. Характер все имели дурной, но отходчивый и, кто больше, кто меньше, сохраняли до самой (всегда преждевременной) смерти мальчишество и даже, как у Гумилева, детскость.

Помню замечательную историю с Львом Николаевичем. Как-то он читал лекции в мае. Страстный его поклонник, актер Саша Кайдановский, вызвался привезти его на своей машине. Но Саша заблудился, и они опоздали на час. Мы стояли на улице

около Курсов. Курили, болтали, ждали. Наконец подъехала машина. Из нее вышли смущенный Саша и раскаленный добела Гумилев. Он был в старомодном габардиновом плаще и в старомодной шляпе, надетой как детская панама. Очи метали молнии. Став передо мной в любимой позе итальянского патриция с рукой, согнутой в локте и упертой в бедро, профессор изрек: «Паова, я зов! Зов... как помесь квакадива с осьминогом». Виновата была, конечно, я, так как привела его на Курсы читать лекции по этногенезу. Отошел он быстро благодаря общей любви и вниманию. После лекций предложил немедленно «пропить гонорар» (пил только водку и много курил), а домой его отвез Саша. История имела не менее детски-комичное продолжение, но об этом не здесь.

Все, о ком идет речь, были личностями бесподобными. Их уход из жизни, почти одновременный, в 1986-м — Андрея Тарковского, в 1990-м — Эйдельмана, Мамардашвили и Лакшина, в 1992-м — Гумилева, трудно назвать утратой, это нечто большее. Без них как быть грядущим поколениям? Как быть культуре?

Натан Эйдельман пришел на Курсы почти одновременно со мной в 1976 году, но все вместе, вчетвером, они читали лекции в 80-х годах. Это был «золотой век», расцвет Высших курсов сценаристов и режиссеров.

Что же это было за время? Подробно, в деталях, описывать его — вне задачи статьи.

Народное острословие годы с 1980-го по 1985-й окрестило «Пятилеткой пышных похорон» (Брежнева, Андропова, Черненко). «Система и идеология» раскачивались и расшатывались. Государственный монолит был в трещинах и трещинках. Однако (у нас мало что меняется) в 1984 году вышел специальный приказ о запрещении книги Н.Я. Эйдельмана «Последний летописец» об историке Н.М. Карамзине. Называлось это «Дело о книге Эйдельмана», в связи с «идейным содержанием книги, которая содержит оценки и положения, не в полной мере соответствующие истине». Носителями исторической истины считали себя те, кто запретил книгу. Натан Яковлевич не мог читать лекции ни в одном государственном университете.

«Ушел» из Института истории естествознания и техники АН СССР Мамардашвили, хотя он был доктором философии, профессором. Ему запретили читать лекции на факультете психологии МГУ. Его выдворяли из Москвы в Тбилиси.

Андрей Арсеньевич на порог ВГИКа ступить не мог, его аудиторией с 1971 года были только Курсы.

Но все эти люди — гордость отечественной филологической, естественной, философской науки и искусства — были приняты, любимы, обласканы Высшими курсами. Превыше всего здесь ценили значение личности педагога. «Культура транслируется только через личность», — утверждал на лекциях Мераб Мамардашвили. А Марина Цветаева в свое время писала о том, что «личность художника» больше того, что он оставил после себя как писатель или художник. Помню, грузинский кинорежиссер Саша Рехвиашвили позвонил мне и пригласил на просмотр своего фильма «Грузинская хроника XIX века». Он показывал его в 1979 году в Грузинском представительстве. Потрясенная, я пришла домой около полуночи и сразу же позвонила Наталье Васильевне Ерошиной, нашему замдиректора, и говорю, что у меня утром лекции, но лучше вместо моих лекций показать Сашин фильм. Член партии, Наталья Васильевна ответила: «Сейчас позвоню Вите Дёмину (ведущему кинокритику тех лет). Пусть придет тоже». Дёмину она звонила во втором часу ночи (пока мы коротенько все обсудили и позвонили Саше). Утром фильм смотрели наши слушатели: от Госкино — до всех. Так работали Курсы, именно так работают и сегодня. Это традиция. То же было с приглашением Мераба Константиновича. Надо, чтобы читал. И он читал на Курсах с 1979 по 1989 год: во славе, в опале, в изгойстве, с международной славой, с «тбилиским скандалом». ВГИК, где Мераб Константинович читал с осени 1976 года, долго выдержать мощь его личности не мог. Кафедра общественных наук трещала и стонала. А доктор марксистской философии Мария Дмитриевна Стучебникова говорила (вслух, громко), как бы заглядывая в апокалиптическое будущее: «Что делается с нашими “ребятами”, не пойму... То ли этой Кафки начитались, то ли этого грузина наслушались. И что это за Кафка? Ну, а кто протащил грузина? Мы знаем...»

Замечательная история произошла с Гумилевым. Он вообще был и трагическим, и скандальным человеком, по судьбе и характеру. Говорю я как-то Ирине Александровне Кокоревой (директору Высших курсов): пусть-де у нас читает Гумилев. «Что вы, что вы, — замахала дорогая наша Ирина Александровна. — Он вообще не ученый. Так все говорят. И человек сомнительный». «Ирина Александровна, ну пусть у нас читает. У нас одних. Это необходимо». — «Ну ладно, пусть читает. Только я ничего об этом не знаю. Это все вы и без моего разрешения».

Ирина Александровна личностью была уникальной. Между прочим, тоже член партии. А женщина интереснейшая. Атмосфера Курсов во многом зависела от нее. Ну и коллектив всегда был под стать. Атмосфера — единственная в своем роде: чай с печеньем на крахмальных салфетках, улыбки и сияния глаз. Склок — никогда, а ссоры мимолетны. Можете мне не верить. Спросите у всех, кто учил и учился.

На лекции Мераба ходили все студенты и «вся Москва». Пропустишь — не вернешь, не услышишь никогда и в книге не прочтешь. Лекции эти были общением уникальным. С Мерабом входил иной мир, им созданный, а потому неповторимый. Это укол, некая прививка, иного видения мира и мышления о нем, сдвигающего внутри пласты затвердевших привычных понятий. К прошлому (у кого в большей, у кого в меньшей степени) возврата не было. Так, потерявший жизненный ориентир, растерянный от непривычки жить и думать самостоятельно герой фильма Александра Сокурова «Разжалованный» слышит в радиорепродукторе голос (!) Мераба Мамардашвили, который рассказывает о декабристах нечто совершенно неожиданное для него. Александр Николаевич был студентом-дипломником в то время, когда во ВГИКе преподавал Мераб Константинович. Подобно голосу из репродуктора в «Разжалованном», лекции Мераба «вырывались» в судьбу поколений студентов, а фильмы Сокурова — в жизнь зрителей.

Вот вопрос: эти «толчки» сознания, усилия пробуждения, открытие нового мира в себе и вокруг важнее «здесь и сейчас» на лекциях, в беседах и т.д. или «потом», когда-то, через изданные спустя двадцать лет тексты? Никто из тех, о ком я пишу, ничему не учил. На лекциях приобщали к своему, сокровенному, вовлекая нас в со-творчество, заставляя думать, выталкивали из спячки привычных мыслей и понятий. И главное, самое главное: все они — и Андрей Тарковский, и Мераб Мамардашвили, и Лев Гумилев — были внутренне свободными людьми. Чего каждому из них стоила эта свобода, как они за нее платили? Скажем просто, эта цена — жизнь. Их финал был ими же предсказан. Но только усилием самотворения они стали собой, и мы, их слушатели, не смею сказать ученики, это понимаем. Высокий профессионализм и внутренняя свобода. Как все просто. А красота, а особая энергетика?! Она была им «дана» или «стала» результатом «усилий свободы»? Поразительно, но именно такое созвучие образованности и воли к самостоянию делало прозрачными и про-

нищаемыми для них пространственные кулисы истории. Кто смеет усомниться в том, что Мераб был «лично знаком» с Рене Декартом? У него голос изменялся, когда он говорил о том, как Декарт должен был утром, в пять часов, в темноте, сырости идти на урок к шведской королеве, в зябкости, в тумане. Он тоже философ, южанин и тоже не переносит тумана в пять утра. «Ужас! Ну конечно же он простудился и умер». Но Мераб интимен с философами был не так, как Натан с декабристами. Да что там с декабристами. С телеграфистом в Варшаве, с Мариной и Самозванцем, с Германном и старухой графиней. «И время прочь, и пространство прочь». А уж Лев Николаевич без всяких сантиментов сводил счеты с гипонским епископом Августинном, с наделенным всеми пороками Ричардом, но придыхал, когда речь шла о Чингисхане. Это просто был идеал всех времен и народов. Ну а если недостатки, то незначительные, простительные. Он хорошо знал всякие детали, как и чем красили и в какой цвет волосы, например, лангобарды. «Только не врете, да или нет, в какой и как завязывали. Это очень важно. Не знаете — в зеленый, вот», — и т. д.

Стихией Лакшина был театр и драматургия. Булгаков — это отдельно. Однажды он читал лекцию, но все ерзали, хотели о Булгакове. Владимир Яковлевич в своей мягкой манере отказывался и достаточно категорично. «Нет, нет — не могу. Непременно что-нибудь случится. Поверьте мне, непременно что-то произойдет». Но не та это аудитория, чтобы отступить. И бедному Лакшину пришлось сдаться. Не успел он, однако, войти во вкус, как раздался страшный треск, и свет погас. Зал замер. «Ну вот видите, я же предупреждал». Тут встала наша Верочка, Вера Игоревна, и сказала спокойно и твердо: «Никакой паники. Несите свечи». Свечи принесли, и разговор продолжался уже совсем интимный: о таинственной паре Михаиле Афанасьевиче и Елене Сергеевне, о переплетении Судеб, о мирах, которые живут в нас и вне нас, но сопричастны нам, о «свете и покое», о постановках, архивах. Вдруг, как ни в чем не бывало, будто не было странного треска и тьмы, зажегся свет. Мы стали тихими, и даже говорить как-то расхотелось. К сожалению, лекции Лакшина были эпизодичны и регулярного курса он так и не прочел.

Натан Эйдельман по профессии и складу ума был историком, филологом, архивистом и гением общения. По рассказам друзей, к тому же шахматистом и математиком. Эрудитом, собирателем историй. По характеру — экстравертом, а потому

аудитория, публичность — единственная среда обитания, как вода для рыб. Лекционную деятельность можно считать его призванием. Просветитель, культуртрегер, носитель уникальной информации, общительный, шумный Натан или, как его называли близкие друзья, Тоник. Не близкие тоже называли его Тоник, но за глаза. Натан — торжественно, библейски. Тоник — ласково, с нежностью. Он очевидно соответствовал обоим именам. Без него не обходились обсуждения в «Современнике», МХАТе, на «Таганке», в Союзе кинематографистов, в ЦДЛ. Он был одной из заметных и, безусловно, авторитетных фигур в культуре 60–80-х годов. И был москвичом и, что совершенно безусловно, сыном своего времени.

Натан родился в Москве в 1930 году и учился в 110-й школе «при Новикове». Был такой великий педагог, умевший создать особый, почти лицейский климат в советской школе. Все ходили в форме, и думать должны были бы одинаково. Но так не случилось. Лицейский дух свободы и пафос дружбы начался оттуда. Его поколение и было «вторым российским авангардом» во всех областях культуры и науки. История для него — инструмент познания общественно-культурных процессов в России, очевидцем и участником которых он несомненно был. Ни на кого не похожий Эйдельман был идеально типичен для своего поколения.

На Высших курсах он читал странный цикл лекций «История как сюжет». Можно было взять буквально любой сюжет, например «Самозванцы в России». История представала в живом движении картин, типов и образов. Он знал, как выглядели, говорили, общались Болотниковы, Разины, Отрепьевы. Но главное, Натан Яковлевич раскрывал самую суть природы российского самозванства в ее неприменном стремлении беглых каторжников и рабов стать царями, править, верша кровавые расправы. С чувственно-эмоциональной отчетливостью очевидца он знал «галантный век Екатерины» и трагедию «бедного русского Гамлета», ее сына Павла Петровича. Это сейчас много говорят, пишут, фильмы ставят, а тогда, в далекие 70-е, он был первым. Но главной страстью был, конечно, Пушкин — и декабристы. Его волновало все, но особенно этическая мера вещей и то, что Пушкин первый создал прецедент защиты своей частной жизни и от черни, и от царя. Мераба также волновали эти вопросы, так как были остро важны для того времени.

Московское раблезианство Эйдельмана имело установку на исторический оптимизм, хотя кому же, как не ему, отчетливо

было видно, что «путь далек лежит». Но пессимистом быть легко, и всегда выглядишь умным. А вот попробуйте жить иначе. Он радовался началу «перестройки», был на подъеме. Много ездил, читал лекции в разных странах. Но почему-то в 1989 году сказал, что скоро умрет. Он умер от разрыва сердца. Всегда казалось, что Натан, во-первых, «всюду», а во-вторых, его миссия — в слове и в диалоге. А опубликовал книг и статей счетом в 203 названия. Среди них: «Лунин» (1970), «Герцен против самодержавия» (1973), «Пушкин и декабристы» (1979), «Грань веков» (1982), «Между XVIII и XIX», «Последний летописец» (1992, посмертно), «И может, за хребтом Кавказа» (1990) и многие, многие другие статьи и книги. Когда же он сидел за этим письменным столом?

Мераб Мамардашвили родился в Грузии, в Гори, 15 сентября 1930 года, а в школе учился в Тбилиси. В 1954 году в Москве закончил МГУ, философский факультет. В разные годы на факультете учились Александр Зиновьев, Борис Грушин, Юрий Левада, Александр Пятигорский, Юрий Карякин, одним словом, весь цвет современной философской школы. И даже скульптор Эрнст Неизвестный. От университета до последних лет жизни он занимался проблемами сознания как философской категорией. Мераб еще считал, что для серьезного изучения сознания совершенно необходимо знание современного кинематографа, и часто приводил примеры из фильмов.

В начале 70-х годов совместно с Александром Пятигорским была написана книга диалогов двух философов «Символ и сознание». Метафизические рассуждения о сознании, символическом и языке. Понимая, что книге не суждено увидеть свет, они «издали» ее в двух экземплярах, написав на титульном листе: «Авторы друг другу». Книга все-таки была издана в 1982 году в Иерусалиме, когда Пятигорский был уже в эмиграции в Англии. И вот передо мной «Символ и сознание» издания 2009 года тиражом 1500 экземпляров с портретами обоих философов-друзей на обложке книги. И еще — Мераб Мамардашвили «Лекции по античной философии» 2009 года с приложением диска лекций, читанных во ВГИКе в 1980 году. С фотографией фрагмента скульптуры Эрнста Неизвестного, беседы с которым можно назвать сотворчеством, друг друга творением, почти забытой мужской дружбой. А в 1968 году, если не ошибаюсь, в «Тартуских сборниках» Юрия Михайловича Лотмана были опубликованы «Диалоги о метасознании». Собеседники те же. Юрмих, так называли Лотма-

на, был той фигурой, где пересекались пути всей гуманитарной и философской мысли. Всея — значит абсолютно всея на семинарах и беседах в Тартуском университете. Вот уж магнит и каталлизатор целой эпохи. Удивительно, до чего все эти люди были экстраординарны. Они никогда не говорили «просто так» — только о главном. Словесное общение на лекциях, семинарах, в курилке Ленинской библиотеки, за вином, в кругу друзей — это и было главным. Бытового общения почитай что и не было, так как быта не было. Или был трудным, так что опускался за ненужностью. Вот они, условия для жизни философов.

На Курсы Мераб пришел где-то в начале 80-х годов, точно не помню, потому что до того, как начал работать регулярно, читал лекции эпизодически. Привела его на Курсы я — точно так же, как тех, о ком пишу, и многих других с «лица не общим выраженьем». Его появление всегда было событием, в том числе и эстетическим. Мощная фигура, лысый череп Сократа, очки в тяжелой оправе и неизменная трубка. Всегда подтянут, элегантен, нетороплив. Неожиданность очень светлых глаз, внимательных, отражавших малейшее движение души, и яростных, и беспомощных. Мераб всегда очень внимательно слушал то, что ему говорят (кто бы и что ни говорил), не торопился с ответом. Он слушал так, будто все имеет к нему личное (а не как к «мэтру») отношение. Черты высокой старинной культуры уважительного отношения к собеседнику. Кем бы ни был, а может, и грузинско-патриархальной (тогда еще) живой традиции. Он, как и Эйдельман, был чуть переизбыточен, но прочь в сторону иронию. Без них стало тихо, скучно и пресно. Они заставляли подтягиваться самим фактом своего присутствия. Они мобилизовывали внимание, мысль, дух.

Не всегда и не всем с ходу было понятно то, о чем говорил Мераб Константинович в лекциях. На вопрос, почему он так сложно говорит, Мераб неизбежно отвечал, что язык философии требует усилий в понимании, и по мере таких усилий вы постигаете то, что не может и не должно быть предметом эстрадного шоу. (Видимо, эстрадным шоу были мои лекции, но я не обижалась.) Но лекции его были нужны и потому популярны. В итоге вполне понятны и долго, долго обсуждались. От него я однажды услышала странную вещь. На что-то, что заканчивалось пассажем со словом «надежда», он, помолчав, ответил: «Что такое надежда, как не незаконное дитя вашей мечты и облака. Научитесь жить без надежды». Подумав, я поняла и не только согласи-

лась с ним, но и приняла к сведению жизни. Жить всей полнотой не только можно, но необходимо, без галлюцинаций и инфантилизма. Мераб был настоящим мудрецом и, при всей экстравагантности, застенчивым и очень скромным человеком. На Курсах он читал «Основные проблемы мировой философии». Он любил повторять: «Вся история европейской философии есть лишь комментарий к Платону». А потому акцентировал философию античную, любимого своего Рене Декарта, Фрейдя, Ницше, Маркса и особенно Марселя Пруста. Пруста очень любил. Пруст был для него Францией, французской культурой, языком. Кстати сказать, лингвистическая одаренность Мераба Константиновича была поразительной. В каждой европейской стране он читал лекции (а не просто туристически общался) на языке этой страны. Почему Франция? Почему Пруст? «Ну что вы хотите от провинциального мальчика из Гори?» В самоиронии была доля правды, доля кокетства. Марсель Пруст был не только «Францией», он был писателем XX века, создавшим новый роман в ином, новом языке, запечатлевшим проекцию жизни сознания. Его книга «Психологическая топология пути. М. Пруст. «В поисках утраченного времени»» была подготовлена его сестрой и вышла посмертно в 1996 году.

Но то, в чем Мамардашвили был уникален, чем отличался он от всех, был дар философствования вслух. Живая мыслящая речь. Не рассказ, не информация. Он размышлял на тему основных идей философии, не анализируя тексты академически, но всегда создавая неожиданные образы, новый мир, пользуясь классической философией как толчком для философии собственной. Размышление вслух рождало (здесь и сейчас) прямо при вашем участии этическую, культурную мысль. «Мысль, — говорил Мераб, — живой организм. Он не может быть покойным, он живет, если его оживлять вновь и вновь. Делать заново и сначала. Заново и сначала». «Как дурно пахнут мертвые слова», — цитировал он поэта Николая Гумилева. Мамардашвили как бы встраивал себя, вернее объединял, пропуская через себя все актуальные вопросы классической мировой философии. Это был титанический труд и то единственное, что составляло смысл его жизни. В своих лекциях он редко использовал материал искусства. Но однажды изрек: «Джотто вышел в трансцендентный ноль», создав прецедент вопроса: «Куда вышел Джотто?» Но на самом деле точнее сказать невозможно. Джотто действительно начал «сначала». Он создал современное искусство, став

режиссером-постановщиком исторических драм в живописи. В этом смысле и Леонардо, и Сезанн, и Малевич тоже вышли в «трансцендентный ноль». Это случается всякий раз, когда мысль гения заново творит мир. Его размышления никогда не носили завершенного характера. Он мыслил вслух, и это было как рождение поэзии или музыки на ваших глазах. Это завораживало и наполняло со-причастностью акту мышления. Не надо думать, что лекции были абстрактны. Напротив, как южанин, он был предметно-чувственным человеком, хорошо понимая значение жизненных реалий.

Как-то в 1984 году нам всем пришла в голову мысль предложить Натану и Мерабу публичный диалог. Его условно назвали «О добре и зле». Осталась стенограмма этой уникальной беседы, а точнее полемики, а еще точнее — боксерского турнира. Тогда я держала руку Мераба Константиновича. И дело было не в том, кто сильнее, а кто слабее. Натан Яковлевич был адекватен своему времени, эпохе «песен Окуджавы», а Мераб — нет. Он сказал о Декарте, что, будучи храбрецом в жизни, в философии он предпочитал не драку, а просто: «Он перешел в другое пространство и там жил, занимаясь делом, которое является делом философа». К сожалению, не всегда в жизни он следовал такой мудрой позиции. Он ввязывался, и очень даже сильно ввязывался, в драки и не мог оставаться равнодушным к событиям в стране, в Грузии. «То есть ему больно, беспричинно больно. То, что болит без причины, по определению есть душа». Хотя внешне все выглядело вполне благополучно, он строил планы, но предчувствие смерти было сильным. Как-то, увидав у меня томик Микеланджело, он открыл его на стихе: «Мне сладко спать, мне слаще камнем быть...» — и подчеркнул одну из строк ногтем. Как и Натан, он умер мгновенно и тоже от разрыва сердца 25 ноября 1990 года. Его смерть была символической. Гражданин Мира, русский-грузин, он умер в аэропорту на таможенной границе между Россией и Грузией. Он ненавидел ханжество, ложь. Но воистину «нам не дано предугадать...» Мерабу, которому не давали читать лекции, выдворили из Москвы, сегодня стоит памятник в Тбилиси, созданный его другом Эрнстом Неизвестным. А как серьезно сегодня мы все относимся, спустя 20 лет, к его философскому наследию! Поверил бы он тогда в память о нем сегодня?

Век-волкодав безошибочен в выборе мишени. Он безжалостно целится в поэтов, философов и всех, кто не «волк по крови своей». Им трудно всегда и везде, но в России же особенно.

Лев Николаевич Гумилев был идеальной мишенью. Ему было очень трудно выжить, для этого не было никаких оснований.

Русский дворянин, сын расстрелянного в 1921 году поэта и путешественника Николая Гумилева и поэта Анны Ахматовой, он никогда, от самого детства, не знал ни покоя, ни семьи, ни еды. Его сажали и ссылали с 1932 до 1956-го. Он воевал в Великую Отечественную в штрафном батальоне с 1943 по 1945-й. И все-таки ничто, ничто не помешало Льву Николаевичу стать самим собой и равнодостоинным родителей своих. «Рыжий львеныш / с глазами зелеными / страшное наследие тебе нести» — так предсказала Цветаева судьбу четырехлетнему Льву. Поэты видят далеко и ясно. Гумилев обожал своих родителей, и направление его научных интересов определилось очень рано и не без увлечения отцом, который был не только поэт, но профессиональный путешественник и этнограф. Он занимался Черным континентом и ездил на «озеро Чад». Был Николай Гумилев и профессиональным воином, награжденным Золотым оружием за храбрость (как за сто лет до него другой поэт-воин — Михаил Юрьевич Лермонтов). На стене комнаты ленинградской коммуналки, где жил Лев Николаевич, висела картина — портрет Николая Степановича на фоне сюжета битвы Св. Георгия со Змеем. Сломаться, согнуться, сгинуть Льву Николаевичу не дало родовое чувство ответственности, воля и упрямство. «Вам он бродяга, шуан, заговорщик / Нам он — единственный сын» (А. Ахматова). До 1956 года Лев Гумилев учился, вернее сдавал экзамены, и даже защитил диссертацию в перерыве между «посадками». А уже после 1956 года он не отвлекался от своего труда ни на минуту, и не было у него иной жизни, кроме любимого дела. Светским человеком он не был. Ученый-энциклопедист Лев Николаевич Гумилев создал свое интеграционное направление науки, где сплелись история, география, востоковедение, философия, психология. Он установил зависимость землепользования от уровня или стадии исторического развития этноса. Но политики, к великому сожалению, не читают книг Гумилева. Если бы они их читали! Кому бы в голову пришло поворачивать реки и сливать отходы в Каспий. Думаю, что открытая им зависимость, взаимозависимость среды обитания и обитателей будет наконец осмыслена как закон. А психологические императивы, выражающие такую взаимосвязь, могут стать своего рода психологическими тестами самопознания общества. Его высказывания были шокирующими, но крепко западавшими в память

слушателей. «Памятник надо поставить английским шерифам, охранявшим леса, а не разбойнику Робин Гуду!»

Гумилев первый и единственный в мировой науке описал в книгах историю кочевых народов и «великой степи». Согласно его теории этногенеза, исторического «сиротства» не существует. Нет великих и малых народов, есть лишь разные культурные традиции и фазы «системы». Да, именно системы или антисистемы, в которую может подзалететь безумная нота в развитии музыки этногенеза. Этнос держится единым полем, традициями и системой ценностей. А если система ценностей и традиций распадается, то распадается и «Дом» как мир, и «Семья» как население дома.

Это лишь одно из положений труда всей мятежной, сказала бы я, детективно-драматической жизни Гумилева. А труд называется «Этногенез и биосфера Земли». Сегодня эту книгу можно купить в любом книжном магазине, а когда Лев Николаевич читал на Курсах, мы «подписывались» на «самиздат». Эту книгу полуполюгально печатал Институт информации, и мы ее заказывали, покупали, зачитывались.

С историей он был интимен, Александра Македонского за просто называл Александром Филипповичем. Изображение на монете, найденной в Эрмитаже, идентифицировал с личностью иранского царя — поэта Бахлула Чубины. Написал его биографию, как если бы был близким другом Чубины, первым перевел на русский язык его стихи.

Лекции Гумилев читал бесподобно, эмоционально, восклицая, удивляясь, готов был часами отвечать на тысячи вопросов. Потом долго сидел, пил чай, водку, сплетничал. Однако мы не сказали о главном. А главное — гипотеза о том, что движет процессом этногенеза? «И море, и Гомер, все движется любовью» — так писал Осип Манделъштам. (Лев Николаевич с детства знал и очень любил Осипа Эмильевича.) Так вот, он говорил почти то же самое, только слово «любовь» заменял словом «страсть». «Пассионарность» — бессознательная одержимость, некая биоэнергетическая доминанта, которая стимулирует новый толчок к историческому развитию, т. е. этногенезу. Согласно теории Гумилева, вся история этноса укладывается примерно в 1200–1400 лет и протекает как растрата пассионарной энергии этноса, т. е. «от человека к обезьяне». Наши мозги трещали, тем более, повторяю, книги его тогда не издавали. Лев Николаевич всегда был фигурой спорной. Его теория вызывала и вызывает

несогласие и раздражение. Он прикасался к больным точкам. Например, «монголо-татарское иго», «теория викингов» и многое другое. Он рассказывал замечательно, как викинги в момент своего пассионарного апогея называли себя «шикарным словом шпана» и лопали наркотики в виде белой поганки. Студенты (в отличие от официальной науки) его ждали всегда. А прав он «по истине» или нет, доказать невозможно. Но он единственный, кто предложил на сегодняшний день строгую теорию о «возникновении и исчезновении наций и государств мировой истории».

Но можем ли мы забыть, что жизнь Курсов была связана с именами тех, кто сегодня гордость отечественной и мировой науки. Сегодня они уже все ушли из жизни. Но мы помним их живыми, не такими знаменитыми, но остроумными, отдавшими Курсам свой дар слова и Колумбовой крови. Одна из черт пассионарной личности — отсутствие чувства самосохранения.

Я специально пишу не только о Мерабе. «Нельзя найти алмазы в черноземе. Их следует искать подле вулканов». Их судьба всегда драматична, их взгляды и характеры часто антагонистичны. Но в одном мои герои всегда совпадали. В том, что «искусство — философский камень, дающий смертному власть над бессмертием».

Так вот все просто.